

ВВЕДЕНИЕ

В конце июля и в августе 1969 года произошли восемь самых загадочных убийств в истории преступлений. Они были совершены со зверской жестокостью, только вот дикие звери не пользуются ножами и пистолетами, а после убийства не оставляют посланий, неровно выведенных кровью жертв.

Сотрудники из отдела убийств управления шерифа Лос-Анджелеса 31 июля 1969 года были вызваны в дом 946 по Олд-Топанга-Каньон-роуд. Когда полицейские вошли в дом, их облепили тучи мух, и они чуть не задохнулись от невыносимого зловония, исходившего от разлагавшейся человеческой плоти. Полицейские обнаружили тело мужчины с множественными колотыми ранами. Было установлено, что мужчина умер несколько дней назад. На стене в гостиной, прямо над телом, кровью убитого было накарябано: «политическая хрюшка». Кроме этой надписи на стене были оставлены пятна крови, похожие на следы лап огромной пантеры.

Убитого звали Гари Хинмэн. Тридцатидвухлетний Хинмэн посещал Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, намереваясь получить степень доктора философии по социологии, а на жизнь зарабатывал преподаванием музыки. Позже выяснилось, что дополнительный доход Хинмэну приносила торговля мескалином, который он сам же и синтезировал.

В субботу 9 августа сотрудники полицейского управления Лос-Анджелеса прибыли в роскошные апартаменты по адресу Съело-драйв, 10050, по соседству с Беверли-Хиллз и Голливудом. На месте второго преступления все было залито кровью, так что вполне можно было прово-

дить съемки какого-нибудь голливудского фильма ужасов. В разных помещениях дома и на улице рядом с ним были разбросаны трупы пяти зверски убитых человек. Все они были в самом расцвете сил: Шэрон Тейт-Полански, Эбигейл Фолджер, Войтек Фриковски, Джей Себринг и Стивен Пэрент. Как и у Хинмэна, в этом доме тоже было оставлено послание, выведенное кровью. На двери дома, где пятеро лишились жизни, было написано слово «свинья». Как впоследствии было установлено, кровь принадлежала Тейт.

Шокирующая резня привлекла к месту преступления множество журналистов и фотографов, окруживших оголенную территорию, на которой полиция искала улики преступления. Ясно было лишь одно — произошли убийства. И все же, как только репортеры подготовили свои репортажи с места событий, газетные полосы сразу заперестрели различными догадками. Кто-то описывал происшедшее как «ритуальные убийства», другие настаивали на том, что люди погибли в результате бурной вечеринки, сопровождавшейся сексом, третьи заявляли, что всему виной передозировка наркотиков. Среди мотивов убийства фигурировали и ревность с любовным треугольником. Некоторые журналисты просто рассказывали о том, что было известно на тот момент: полиция сбита с толку и не может установить причины преступления, продолжая поиски зацепок для разгадки самых ужасных убийств, когда-либо совершенных в Лос-Анджелесе. Но это было только начало.

На следующий день, в воскресенье, 10 августа, когда прошло немногим более суток после визита полиции на Съело-драйв, сотрудники Лос-Анджелесского управления полиции были вызваны к месту не менее отвратительного убийства по адресу Вейверли-драйв, 3301, в Лос-Фелис, один из районов Лос-Анджелеса. Дом принадлежал Лино и Розмари Ла Бьянка.

Сорокачетырёхлетний Лино умер в результате двадцати шести колотых ранений, часть из которых была нанесена ему вилок для мяса. Его тело так и нашли — с торчавшей в животе вилок и ножом, воткнутым в горло. Жену Лино, тридцативосьмилетнюю Розмари, ударили острым предметом сорок один раз. И вновь в доме убитых были оставлены послания, бесстыдно выведенные кровью жертв: на стене можно было прочесть «смерть свиньям» и «восстание», а на дверце холодильника с ошибкой было написано «Healter Skelter». Окружной прокурор Винсент Баглиози в конце концов предположил, что именно слово «Helter Skelter»* и является мотивом, но наполненные леденящим ужасом ночи и жестокое убийство восьми человек по-прежнему оставались неразгаданной тайной.

По мере того как информация об убийствах распространялась по стране, газеты, радио и телевидение торопились сообщить любые подробности событий, которые вскоре стали известны всему миру как «убийства Тейт — Ла Бьянка». Сами преступления и их освещение в новостях привели в ужас жителей Голливуда и его окрестностей. Страх и подозрение поселились в домах, наполнили сердца людей и улицы всей Южной Калифорнии. Пистолеты и ружья продавались с рекордным размахом: их раскупали для самообороны. Полицейские, от которых требовали найти хотя бы какого-нибудь подозреваемого, работали без устали, ища улики и отрабатывая версии.

Несмотря на арест подозреваемого, Роберта Босолея, спустя несколько дней после гибели Хинмэна, никто не связывал с ним убийства в самом центре Голливуда. Лишь через несколько месяцев, когда был арестован второй подозреваемый по делу Хинмэна, расследование убийств Тейт — Ла Бьянка сдвинулось с мертвой точки.

* Беспорядок, суматоха (англ.).

Подозреваемую звали Сьюзан Дениз Аткинс. В конечном итоге ее обвинили во всех упомянутых убийствах, а также в смерти Дональда Джерома (Шорти) Ши — девятой жертвы, о которой стало известно лишь после задержания преступников. Аткинс проболталась своим соседкам по камере, в красках описав им свое участие в убийствах, и назвала Чарльза Мэнсона харизматическим основателем некоего культа, живым Иисусом, духовным учителем, наделенным такой мистической силой, при помощи которой он сумел заставить своих последователей убивать ради него. Заключенные, которым доверилась Аткинс, поделились ее секретом со следователями, после чего в начале декабря полиция объявила на пресс-конференции о том, что зловещие преступления, расследование которых велось на протяжении последних пяти месяцев, наконец раскрыты.

Аткинс продала авторские права на историю о Мэнсоне и других заключенных под стражу подозреваемых «Две ночи убийств» газете *Los Angeles Times*, а также нескольким зарубежным газетам, так что накануне Рождества 1969 года весь мир прочел этот сенсационный материал. Эти и последовавшие за ними газетные публикации превратили Мэнсона в самого известного злодея нашего времени еще до того, как он предстал перед судом. Неослабевающее внимание СМИ во время судебного процесса обеспечило Чарльзу Майлзу Мэнсону и его последователям (которых сейчас обычно называют «семьей Мэнсона») всемирную дурную славу.

Мэнсона обвинили в том, что он пробудил животную жестокость в своих адептах. В качестве мотива зверских убийств обвинитель Бульози назвал убежденность Мэнсона в скором восстании, которое чернокожие рано или поздно поднимут против белых, в чем он убедил своих последователей. Это Мэнсон и имел в виду под «хелтером-скелтером», цитируя одноименное название одной

из песен Beatles. Говорили, что Мэнсон приказал своим приверженцам совершить шокирующие убийства, чтобы углубить расовый конфликт и навести полицию на ложный след, заставив ее поверить в то, что злодеяния были совершены неграми. Также высказывалось предположение, что Мэнсон выбрал дом по адресу Сьело-драйв по той причине, что раньше там проживал Терри Мелчер, глава некой звукозаписывающей компании, не сумевший обеспечить раскрутку Мэнсону Задумав убийства, Мэнсон припомнил «отказ» Мелчера и удаленное расположение его бывшего жилья, что делало его идеальным местом преступления.

Кроме того, обвинение утверждало, что Мэнсон убедил своих последователей в существовании одного карьера в Долине смерти, где он и его группа могли переждать грядущую расовую войну. По предсказаниям Мэнсона, победу в столкновениях должны были одержать чернокожие, однако у них не хватило бы ума, для того чтобы осуществлять управление страной надлежащим образом. После завершения беспорядков Мэнсон и его избранные вышли бы из своего убежища и начали строить новое общество в соответствии с представлениями Мэнсона.

С момента ареста Мэнсона и членов его Семьи до вынесения приговора прошло больше полутора лет — столько потребовалось для проведения следствия и судебных процессов. К казни в газовой камере в Сан-Квентине были приговорены Чарльз Мэнсон, Сьюзан Аткинс, Чарльз (Текс) Уотсон, Лесли Ван Гутен и Патрисия Кренвинкель (за убийства Тейт — Ла Бьянка), Брюс Дэвис и Стив Гроган (за участие в убийстве Шорти Ши), а также Бобби Бослей (за убийство Гэри Хинмэна).

Однако спустя год после вынесения смертных приговоров штат Калифорния отменил их, при этом преступники автоматически приговаривались к пожизненному заключению. Изменение меры пресечения позволяло

рассмотреть возможность условно-досрочного освобождения этих восьми осужденных уже в 1978 году. Осенью 1985 года, после шестнадцати лет тюремного заключения, Стив Гроган был условно-досрочно освобожден на строгих условиях комиссией по условно-досрочному освобождению штата Калифорния. Другим осужденным по этому делу в досрочном освобождении было отказано.

Большинство людей считают Мэнсона и тех, кто приходил с ним по делу, жестокими, хладнокровными убийцами, у которых съехала крыша от наркотиков. Вместе с тем другие видят в Мэнсоне своеобразного вождя и гуру, обладающего мистическими способностями. Они защищают Мэнсона, оказывают ему поддержку и пытаются имитировать его жизнь, предшествовавшую убийствам. Отбывая наказание, Мэнсон получает тысячи писем и принимает многочисленных посетителей. Письма пишут подростки и взрослые обоего пола, женщины приходят к Мэнсону в тюрьму, стремясь добиться его внимания и симпатии, кто-то ищет у него совета, кое-кто хотел бы стать его последователем. Находятся даже такие, кто готов пойти на преступление ради него — вернее, ради мифа, который сложился вокруг его личности. Но этот миф далек от реальности.

Так получилось, что я познакомился с Мэнсоном много лет назад, задолго до появления «детей цветов» и хиппи. Я с ним не «делил косяка», как на тюремном жаргоне говорят о близких приятелях, но мы действительно провели вместе какое-то время в одном месте — в Терминал-Айленде. Случилось это в 1956-1957 годах, когда я получил срок за перегон в другой штат угнанной машины. В то время Мэнсону исполнился всего двадцать один год, а мне было двадцать восемь. В тюрьме нас связывал, главным образом, общий интерес к атлетике. Впрочем, я видел в нем себя, каким был в том же возрасте, — юнец среди заключенных постарше, ловивший каждое слово зако-

ренелых, законченных преступников, который был еще слишком молод, чтобы понять — криминалу приходит конец.

Я освободился в 1957 году и вскоре открыл свою автомастерскую в Голливуде. Мэнсон вышел из тюрьмы на следующий год. У нас были общие друзья в этом районе, так что, когда у Мэнсона из-за автомобильной аварии возникли кое-какие проблемы, один из наших приятелей сказал ему, где меня найти. Хотя ничего уголовного в этом столкновении не было, все же у Мэнсона возникли сложности. «Мой контролер порядком достает меня, — сказал Мэнсон. — Или я почию машину того парня, которую помял, или он скажет, что я нарушил условия досрочного освобождения и отправит меня обратно в кутузку. Ты меня выручишь?» Я отремонтировал ту машину, а заодно и автомобиль самого Мэнсона. Этот случай и наше пребывание в одной тюрьме позволили мне написать биографию Мэнсона. Ибо, как он часто повторяет на протяжении последних шести лет: «Ты не дал мне угодить в тюрьму, Эммонс. Я у тебя в долгу. И если кто и может объяснить, почему все так обернулось, так это ты, наверное, потому что ты был там, ты хороший парень».

Потом я не виделся с Мэнсоном до 1960 года. Мы снова встретились уже в тюрьме Макнил, где я сидел за участие в сговоре по поводу ввоза наркотиков. Наши отношения во многом были теми же, что в Терминал-Айленде, и ограничивались занятиями атлетикой, за исключением нескольких случайных разговоров. Помню, однажды Мэнсон спросил у меня, знаю ли я что-нибудь о Роне Хаббарде и дианетике. Поскольку я ничего об этом не слышал и не горел особым желанием узнать, наша беседа была короткой. Время, проведенное в тюрьме Макнил, изменило всю мою дальнейшую жизнь, причем в лучшую сторону. Как вы поймете из книги, это время оказалось поворотным и для Мэнсона.

Освободившись в 1964 году, я хотел лишь одного — стать ответственным и честным гражданином. С тех пор я ни разу не нарушал права других людей и не рисковал своей свободой. Я возобновил свое дело, вернувшись к автомастерской, а затем попробовал себя в другой сфере, став свободным писателем.

Я почти не обратил внимания на убийство Гэри Хинмэна в 1969 году, но об убийствах Тейт и Ла Бьянка мне, как и всему миру, было известно очень хорошо. Когда в декабре 1969 года в расследовании всплыло имя Мэнсона, я был поражен. Меня удивило не столько его участие в этих преступлениях, сколько то, что человек, которому приписывали способность заставлять людей выполнять любую его прихоть, мало походил на того парня, которого я помнил.

К 1979 году я почти совсем забыл о Мэнсоне, пока мне на глаза не попала статья о нем, опубликованная в местной газете. Автор материала ездил в Вакавилль, где тогда сидел Мэнсон, намереваясь взять у него интервью. Мэнсон отказался давать интервью этому корреспонденту. В конце концов в репортаже были использованы сведения из рассказов тюремщиков. Среди прочего в статье говорилось, что Мэнсон редко откликается на просьбы дать интервью. В то время я уже писал для одной газеты и почувствовал, что моя прошлая связь с Мэнсоном могла бы послужить мне пропуском и позволить увидеться с ним, в чем было отказано другим желающим.

На первое мое письмо ответил один из тюремных друзей Мэнсона. Он написал мне следующее:

«Чарли постоянно получает письма от придурков вроде тебя, которые хотят взять у него интервью. Его не интересует болтовня с тобой, чтобы потом все было перевернуто и в газетах появилось еще больше лжи. Но если ты хочешь написать о каком-нибудь отвязном, тронутом ублюдке, то пришли мне телик, и я потреплюсь с тобой».

В конверт были вложены две газетных вырезки, где рассказывалось об этом человеке и совершенных им убийствах, за которые он отбывал наказание. Я проигнорировал письмо, разве что вернул вырезки по просьбе автора.

Во втором письме на имя Мэнсона я написал о себе так, чтобы он наверняка вспомнил меня. Я объяснил, что, если он не хочет беседовать со мной как с журналистом, я мог бы приехать к нему как обычный посетитель. Ответ пришел практически сразу, пусть и написанный неразборчивым почерком. Ответное письмо Мэнсона сводилось к следующему: «Да, я помню тебя. Тебе следовало бы сразу сказать, кто ты такой, еще в первом письме, тогда я не отдал бы его Бучу. У меня не бывает гостей, так что не ожидай слишком многого, они говорят, я псих. Но если хочешь приехать — приезжай». Когда я показал это письмо жене, она сказала: «Ты что, на самом деле собираешься встретиться с ним? Разве тебе не страшно только от одной мысли об этом?» Как и многие другие, она прочла книгу «Helter Skelter»* и твердо была убеждена в том, что Мэнсон был способен обращать людей в свою веру.

Калифорнийский медицинский центр в Вакавиле находился всего лишь в двух часах езды на машине от моего дома. Вопросы так и роились у меня в голове, пока я ехал в Вакавиль. Я гадал, с кем же мне придется иметь дело — с юным, не слишком агрессивным пареньком с кротким взором, каким он запомнился мне по тюрьме, или со злодеем с бешеными глазами и тяжелым характером, каким его обычно изображали телевидение и газеты. Несмотря на беспорядок в голове, в тюрьме я заполнил подробный бланк по поводу предстоящей беседы. «Черт возьми, — думал я про себя, — ты вообще был в своем уме, заявившись сюда?»

* Книга Винсента Бульози, прокурора на процессе Чарльза Мэнсона, и журналиста Курта Джентри «Helter Skelter: Правда о Чарльзе Мэнсоне» (впервые опубликована в 1974 г.; рус. изд. 2003 г.), считается одним из наиболее всесторонних изложений «дела Мэнсона».

Заполнение документов не было простым делом для меня. Я снова был в тюрьме, пусть и в качестве посетителя, и мой приход сюда всколыхнул воспоминания о днях моего заключения. Сердце у меня застучало, руки затряслись так, что я с трудом заполнил обязательные бланки для посетителей.

Вновь оказавшись на территории тюрьмы, я ощутил нестерпимое желание забрать свой паспорт, выскочить за тюремные ворота и забыть все, что хотя бы отдаленно было связано с тюрьмой. Но вместо этого я сделал глубокий вдох и уселся среди других ожидавших свидания посетителей.

Прошло три четверти часа, и охранник объявил: «Посетитель к Чарльзу Мэнсону». При упоминании этого имени все вздрогнули. Я поднялся и направился к комнате для свиданий. Те, кто не смотрел на меня, чуть не вывернули шею, пытаясь узреть самого Мэнсона. У двери комнаты меня остановил охранник, сказав, что мне не сюда. Он проводил меня к месту, известному как «между ворот». По пути он разрешил мне остановиться у торгового автомата и купить сигарет, кока-колы и конфет.

«Между ворот» — это тщательно охраняемая зона, отделяющая вход в тюрьму и административные помещения от места проживания заключенных. Управляемые электроникой зарешеченные ворота поставлены в обоих концах коридора длиной двадцать пять футов. В начале этого коридора находится комната из пуленепробиваемого стекла. Там сидят минимум два сотрудника, открывающие и закрывающие ворота. Они проверяют личность каждого входящего и выходящего. Ворота никогда не открываются одновременно. Вдоль коридора расположены две или три комнаты с решетками вместо дверей. Размер комнат примерно восемь на восемь футов. В каждой из них есть стол и четыре стула, прикрученные к полу в центре комнаты.

Мэнсона уже привели и заперли в той комнате, где должна была проходить наша встреча. Пока охранник открывал дверь, чтобы впустить меня, Мэнсон не отрываясь, пристально смотрел на меня. На нем была стандартная тюремная одежда из грубого хлопка синего цвета, а лоб был перехвачен сине-белой банданой, чтобы длинные волосы не падали на лицо. Еще у него была густая борода, как у Христа. В то время Мэнсону исполнилось уже сорок четыре года, но в его бороде и волосах виднелись лишь одна-две седые прядки. Он выглядел не слишком повзрослевшим с той поры, когда я видел его последний раз в 1964 году. Когда охранник запер за мной дверь, Мэнсон отступил в дальний угол комнаты. Он был похож на испуганного, недоверчивого зверька. Он слегка подался вперед, чуть вытянул шею и задрал голову, склонив ее при этом набок. В такой позе он кивнул мне и сказал: «В чем дело, приятель?» — «Да ни в чем, — ответил я. — Я просто приехал сюда, как и обещал в письме». С этими словами я выложил напитки и конфеты на стол и протянул Мэнсону руку, чтобы поздороваться. Худое тело Мэнсона выпрямилось, он шагнул ко мне и пожал руку. Сквозь его бороду проглядывала слабая улыбка. «Да, Эммонс, — сказал он, — я бы узнал тебя где угодно. Как успехи в гандболе?» — «Черт, я не играл с тех пор, как вышел из Макнилла. А твой?» — «Ты шутишь, что ли! Эта мисс Уинтерс [тогдашний главный психиатр в Вакавиле] и ее чернокожие приятели прижали меня так, что я ничего не могу делать. Мне потребовалось девять лет, чтобы выбраться из крыла Б. (Крыло Б — это отдельный блок, где держат заключенных, находящихся под усиленным психиатрическим наблюдением.) Они перевели меня в крыло W, — добавил он, — но там не лучше».

Лед между нами был сломан, но в воздухе все-таки висело осязаемое напряжение. Мэнсон не подпускал меня к себе ближе, чем на расстояние вытянутой руки, и не по-

зволял себе оказаться в уязвимом положении. Он всегда устраивался так, чтобы иметь возможность немедленно защититься при необходимости. Его паранойя стала еще заметнее, когда я предложил ему закурить. «Сам прикури!» — велел он. Я протянул ему зажженную сигарету, но, прежде чем затянуться, он дотошно прощупал ее пальцами и спросил, где же запрятана бомба. Он не прикоснулся ни к воде, ни к конфетам, которые я разложил перед ним, до тех пор, пока я сам их не попробовал. Потом он стал брать то, что начинал пить или есть я, на моем примере убеждаясь, что яда там не было. «Ты придуриваешься, — спросил я, — или в самом деле настолько больной, что думаешь, будто я пришел сюда, чтобы тебя отравить?» Отвечая, он смотрел мне в глаза немигающим взглядом: «Видишь ли, я не видел тебя лет пятнадцать-двадцать. Когда мы были с тобой в одной тюрьме, у тебя не находилось для меня времени. И вдруг ты нарисовался. И что же я должен думать, по-твоему? Я протянул так долго, потому что люди помнят обо мне. Ты понятия не имеешь, как эти ублюдки хотят от меня избавиться. Я живу в этом дерьме уже десять лет, и изо дня в день они подсылают ко мне кого-нибудь. Я еще не расстался с жизнью только потому, что я всегда начеку. Я не доверяю ни тебе, ни кому-нибудь другому!»

Пытаться изменить его отношение было в тот момент бессмысленной затеей, но все же я почувствовал необходимость объяснить ему, почему у меня не находилось для него времени, когда мы вместе сидели. «Ты был на восемь лет младше меня; то, через что ты только проходил тогда, для меня уже осталось в прошлом. Ты и те парни, к которым ты пристроился в тюрьме, играли в игры и пытались произвести на всех впечатление. Я же хотел лишь одного — отбыть свой срок и выбраться оттуда. Дело было вовсе не том, нравился ты мне или нет». Похоже, мои слова успокоили Мэнсона. Угрожающая злость, звучавшая в

его голосе, исчезла, и он начал расспрашивать меня о бывших общих знакомых. Оказалось, что он знал об их жизни куда больше, чем я. Заключенные всегда в курсе, что происходит с теми, кто выходит за тюремные ворота, и они подавно будут знать, попался парень снова или продолжает обделявать свои темные делишки на воле. Вместе с тем если человек исправляется, то новости о нем, судя по всему, перестают поступать и для других заключенных он словно умирает.

Спустя примерно полчаса охранник сообщил, что у нас осталось пять минут. В эти последние минуты Мэнсон затронул тему, которой я решил не касаться на первом свидании с ним. «Ха, так ты теперь у нас писатель? Знаешь, вы, ублюдки, меня просто достали, и я не верю ни одному из вас, уродов, чтобы говорить вам правду. Что на это скажешь?» Я не понимал, для чего Мэнсон сказал мне это: хотел ли он дать мне от ворот поворот или просто проверить мою реакцию. «Все так, Чарли, — ответил я, — я тоже не доверяю многим писателям. Так что не думай, что я приехал сюда, чтобы потом что-нибудь написать. Я здесь потому, что когда-то мы с тобой провели вместе какое-то время, и если мои один-два прихода хоть как-то разнообразят твою жизнь, я приеду еще. А если ты не захочешь, то нет». Мэнсон не дал прямого ответа. «Слушай, мне бы немного почтовых марок и блокнотов, можешь устроить?» — спросил он. «Конечно, — сказал я. — И если тебе надо денег на книги, тоже обращайся».

Наше время истекло. Когда мы прощались, Мэнсон стоял ко мне уже ближе, чем в начале встречи. Мы пожали друг другу руки с легкой теплотой. О преступлениях мы разговор не заводили. Хотя Мэнсон ничего об этом не сказал, я почувствовал, что он хотел видеть меня снова. Со временем, подумал я, мы могли бы научиться доверять друг другу.

Я выслал Мэнсону марки и бумагу, которые он просил, и еще денег на продукты. Мы обменялись, может, парой писем, и я стал ездить к нему почти каждую неделю. Следующие два свидания были похожи на первую нашу встречу. Мэнсон почти не говорил о внешнем мире и о прошлом, зато охотно рассуждал о том, как изменились тюрьмы. Пару предложений он говорил связно, практически логично, но потом вдруг перескакивал на другое, не закончив первой мысли.

Я уже виделся с Мэнсоном раз шесть или семь, но все еще не знал, что ему колют лекарства, пока однажды он не сказал: «Может быть, ты своеобразная терапия для меня, ведь они стали меньше меня колоть». После этого наше общение стало более конструктивным. Мы начали говорить об убийствах. Он уклончиво отвечал на прямые вопросы о своем участии в них, зато свободно говорил о «своих девочках», вспоминал свою жизнь на ранчо Спан, пустыню Мохаве и свои багги для езды по песку. Он сам рассказал кое-что о Линетт (Пискле) Фромм и о покушении на президента Форда. Как-то раз он неожиданно спросил у меня: «Слыхал о том, что Красная была в Элдерсоне? (Красная — это было «цветовое» имя, придуманное Мэнсоном для Фромм; несколько самых важных девушек в «семье» имели разный «цвет».) Я должен нести еще и это бремя. Я не говорил ей стрелять в Форда. Это была ее идея, но, как и все остальное, легло на Чарли. Эй, видел «Ангелов Чарли» по телевизору? Это же прямо про меня и моих девочек. Между прочим, как думаешь, это я послал тех ребят в дом Мелчера?» Так он первый раз спросил меня напрямую, считал я его виновным или нет.

«Ты же все-таки здесь, Чарли, — ответил я, — поэтому я вынужден думать что-то вроде того». Он взорвался, и мне впервые довелось встретить этот острый, пронизывающий взгляд, который так часто фигурировал в газетах и на обложках журналов во время судебных заседаний в

1970 году. Мэнсон подошел ко мне, но не для того, чтобы ударить, а чтобы заорать на меня. Его лицо было всего лишь в нескольких дюймах от моего. «Ты, мразь, ты мне не друг, ты просто еще одна жертва той чепухи, что Сэди (Сьюзан Аткинс) и Бульози написали в «Helter Skelter»! Да пошел ты, катись отсюда». Охранник достал ключи и уже собирался открыть дверь, чтобы помешать драке, которая, как он думал, была неминуема, но я сказал ему, что все нормально, и у нас просто небольшая размолвка. Тюремщик колебался, а Чарли отошел от меня и уставился на нас обоих. Он весь дрожал от гнева. Потом я заметил, что он расслабился. «Да, все в порядке, все под контролем», — сказал он охраннику. Вспышка ярости прошла так же быстро, как и началась. Мэнсон продолжил разговор тихим, спокойным голосом. «Видишь ли, я уже достаточно пожил на этом свете, чтобы понять: если ты совершишь преступление, тебе придется за это расплачиваться. Но я не виновен в том, за что эти козлы меня осудили. Я не должен быть здесь! Во всяком случае, не так, как они меня держат, не под иглой. Они могли бы обвинить меня в сговоре, в соучастии до или после преступления; наказание было бы тем же, но я безропотно отбывал бы его». Потом, опасаясь, что я сочту его слова проявлением слабости, Мэнсон быстро добавил: «Да я не жалею, пойми, просто эти сволочи поступают со мной несправедливо». Минуту или две стояла тишина, он сверлил меня взглядом, пытаюсь угадать, поверил ли я ему. «Если так оно и есть на самом деле, Чарли, давай я напишу книгу с твоих слов о том, как это было», — нарушил я молчание. Он улыбнулся и сказал: «Хитрый ты сукин сын. Через два месяца наконец раскололся. Но послушай, приятель, я не знаю, могу ли доверять тебе». — «А что значит «доверять», Чарли? — спросил я. — Все что можно плохого, о тебе уже сказали. Но твоя жизнь отражает все пороки нашего общества, и, если ее правильно преподнести, она могла бы послужить свое-

образным уроком для общества. Ты же сам всегда говоришь, что родители присылали своих детей к тебе. Твоя жизнь, такая, какой она была на самом деле, без всей той ерунды из «Helter Skelter», которую проглотили во время суда, могла бы объяснить, почему те самые ребята пришли к тебе, и заставить родителей внимательней относиться к себе и к своим отпрыскам. На примере твоей жизни можно много чему научиться. К тому же у тебя ведь есть собственное мнение насчет причин, которые привели к убийствам. Так позволь мне записать его».

«Знаешь что, Эммонс, мне наплевать на тех щенков! Родители — вот кто должен за ними присматривать. Из-за этих самых детишек и их узколобых мамаш и папаш я и загремел сюда. Пусть заботятся о себе сами. Нет, к черту все! Я не собираюсь становиться частью книги, все равно какой! Особенно книги, которая выставит меня кем-нибудь вроде благодетеля человечества. Пошли они к черту, они сами создали образ, так пусть и живут с ним, пусть все эти дети пишут мне письма с просьбами о встрече и о вступлении в мою «семью». Черт, да не было никакой семьи! Какой-то журналист прилепил это слово к нам, когда они доставали нас на ранчо. Кроме того, не найдется ни одного человека, который захочет читать что-то, что могло бы научить его кое-чему. Их интересует только кровь и секс — вот что у них на уме, когда они тратят свои деньги».

В тот день я уходил из комнаты для свиданий удрученным. Я понял, что выбрал не тот подход, предложив Мэнсону использовать его жизнь в качестве примера. Он ненавидел всех членов добропорядочного общества с такой силой, что не хотел даже косвенным образом оказаться полезным для них.

Спустя несколько дней после той встречи я получил от Мэнсона письмо, в конверт с которым были вложены письма от двух изданий, просивших у него интервью. В этом письме Мэнсон спрашивал у меня, стоит ли ему со-

глашаться на интервью. Я не стал писать ответ, а вместо этого приехал к нему на следующий день. Я не заикнулся о книге, но попросил у него быть первым, кому он даст интервью, если захочет.

«Договорились! — ответил Мэнсон. — Только вот, одно из тех писем пришло от девушки из какой-то местной газеты, которая уже давно добивается встречи со мной. Так, может, ты ее проверишь и возьмешь с собой». Мы сошлись на том, что я буду брать интервью у Мэнсона с этой женщиной. Я поговорил с ней, и она согласилась на определенные ограничения.

Во время интервью журналистка спросила у Мэнсона: «Откуда у вас такое доверие к Эммонсу? Я хочу сказать, вы ведь так часто отказывались давать интервью, но ему все-таки пошли навстречу». Ответ Чарли стал для меня приятным сюрпризом. «Дело в том, что мы с Эммонсом давно знакомы. Он понимает меня. Вообще-то он один из моих отцов, он помог мне повзрослеть, и он пишет книгу о моей жизни». Было совсем не лестно услышать от Мэнсона, что я был ему как отец, да еще содействовал его воспитанию, но он упомянул о книге, и я не собирался давить на него, выпрашивая, с чего бы это и когда он передумал. Возможно, он оценил мои регулярные приезды, может, вспомнил услугу, которую я оказал ему когда-то; как бы то ни было, он был готов сотрудничать со мной.

В дополнение к публикации я договорился с *United Press International* о предоставлении их телеграфному агентству нескольких фотографий и релиза интервью. В моем материале не говорилось о том, что Мэнсон согласился предоставить мне материал для книги, но в релизе *UPI* было сказано, что я работаю над книгой о Чарльзе Мэнсоне. Я сразу начал получать письма о нем. Несмотря на то, что после его преступлений минуло уже больше десяти лет, Мэнсон по-прежнему привлекал к себе внимание и вызывал достойный удивления интерес. Большая

часть корреспонденции пришла из Соединенных Штатов, но были письма и из Канады, Англии, Германии, Испании, Италии и Австралии. Авторы многих писем предлагали информацию для книги, и все говорили о том, что Мэнсону надо дать возможность самому рассказать о своей жизни и о тех событиях, которые привели к убийствам в 1969 году.

В основу этого повествования от первого лица легли многочисленные интервью, письма, адресованные Мэнсону, и письма, которые он присылал мне. При подготовке книги у меня на пути возникло немало препятствий. Хотя Мэнсон и дал согласие сотрудничать, он не всегда хотел это делать, так что мне приходилось часами выслушивать его повторяющиеся жалобы насчет прогнивших тюрем и всей системы исправительных учреждений. Мне разрешалось пользоваться магнитофоном лишь тогда, когда я беседовал с Мэнсоном для написания заказной статьи для публикации. И только в этом случае тюремное начальство снабжало меня магнитофоном, поскольку бытовало мнение, что при попытке бегства заключенного из Сан-Квентина несколько лет назад адвокат пронес пистолет как раз в магнитофоне. За исключением этих редких моментов мне приходилось запоминать все в уме, пока у меня не появлялась возможность сделать записи на кассету или на бумагу. Я провел долгие часы на тюремной парковке, записывая имена и особые фразы, типичные для речи Мэнсона и отражавшие его мысли. Нередко я был вынужден исправлять описание каких-то событий, по несколько раз переспрашивая у Мэнсона подробности и исправляя неверные сведения из других источников. Порой версию Мэнсона было невозможно состыковать с фактами, но в конце концов цель этой книги в том и состоит, чтобы передать именно его версию.

Моя задача осложнялась еще и тем, что Мэнсон временами противоречил самому себе или вдруг решал, что

он не хочет делиться какой-то частью своей жизни с толпами неизвестных ему читателей. Когда такое случалось, мы часто спорили, и наша встреча обычно заканчивалась тем, что нам обоим было наплевать, увидимся ли мы снова. Могло пройти два-три месяца, прежде чем один из нас «ломался» — обычно это был я.

Детство Мэнсона я восстанавливал по кусочкам, используя разные источники. Он рассказал мне о своем детстве, но эта информация грешила множеством пробелов, так что я поколесил по стране: съездил туда, где Мэнсон родился, а также посетил места, где прошли первые шестнадцать лет его жизни. В Индиане, Огайо, Западной Вирджинии и Кентукки я беседовал с людьми, которые могли восполнить недостающие сведения и подтвердить слова Мэнсона. Если у меня появлялось что-нибудь новое, я возвращался к Мэнсону и пересказывал ему, выслушивал его мнение, стараясь понять его отношение.

Со времени моего первого свидания с Мэнсоном минуло больше шести лет. За эти годы и сотни часов наших разговоров порой я чувствовал его ненависть и презрение к себе, платя ему той же монетой. Я видел его нежность, приятную сторону его натуры, которая вполне могла помочь ему привлечь сторонников. Но Мэнсон никогда не демонстрировал признаков раскаяния и не выражал сострадания по отношению к людям, лишившимся жизни из-за того сумасшествия, в которое погрузился он сам и его группа.

Когда Мэнсона спрашивают, почему он не мучается угрызениями совести, его отношение резко меняется, и он начинает агрессивно защищаться: «И в чем я должен раскаиваться? Я никого не убивал! Спросите-ка у окружного прокурора и у всех газетчиков, раскаиваются ли они хоть чуть-чуть в том, что отправили ко мне всех этих юнцов, которые хотят взять в руки ножи и пистолеты и убивать ради меня, потому что окружной прокурор и жадные до денег писателишки заставили людей поверить в меня та-

кого, каким я на самом деле не являюсь? Черт, они создали этот образ — и продолжают подпитывать миф».

Миф о Чарльзе Мэнсоне, шумиха вокруг него, сделавшая его интригующим персонажем, проблема жестокого обращения с детьми, которая не может не волновать сегодня, последствия употребления наркотиков — все перечисленное казалось важным стимулом для создания этой книги. На мой взгляд, миф, бытующий о Чарльзе Мэнсоне, вряд ли устоит на фоне его собственных слов. Его рассказ наглядно демонстрирует, к чему может привести длительное употребление наркотиков, а повествование о детстве еще раз доказывает, насколько дети нуждаются в любви и понимании.

Если ребенок не получит их в семье, он будет искать это где-нибудь в другом месте. Соблазнившись мифом и приняв его за реальность, многие люди обращаются к Мэнсону за помощью.

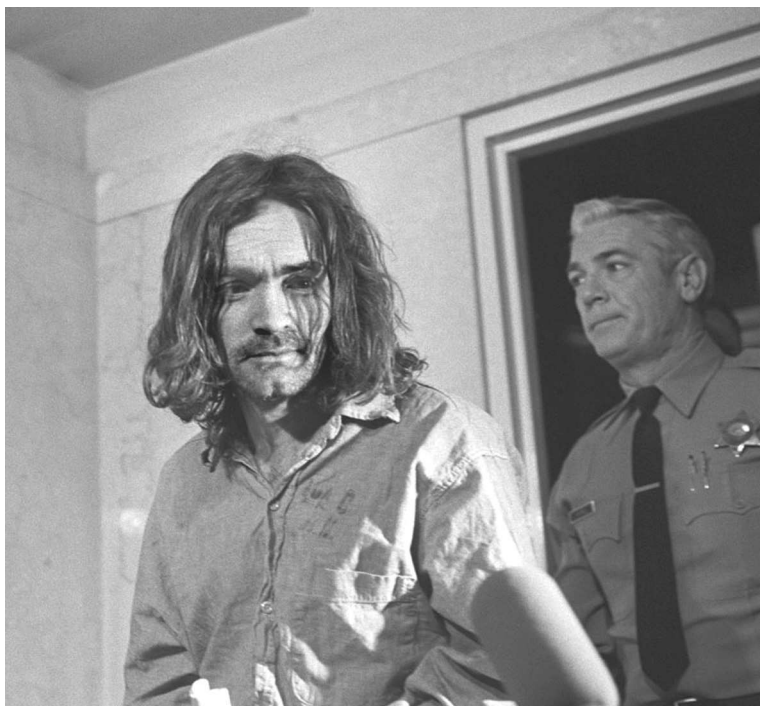
Мэнсон не преувеличивает количества приходящих на его имя писем, посетителей и потенциальных последователей, жаждущих его внимания. Я встречался со многими из них. Он переслал мне писем общим весом почти в сто килограммов и почти столько же — другим знакомым на хранение и для просмотра. Его заявление о том, что «кое-кто предлагает взяться за ножи и пистолеты» или готов «порешить нескольких свиней» ради него, подтверждается множеством адресованных ему писем, с которыми я ознакомился.

Это пугающий факт, и большинство из нас недоумевает, почему так происходит. Мэнсон же говорил: «Посмотрите на себя! Дело вовсе не во мне и не в моих способностях. Так с ними обращались в детстве, когда родители пытались быть для них Богом. Вся пропаганда, которую раздувал кто-то, желавший ощутить собственную важность и разбогатеть, дала им того, кто привел их к крушению надежд». Мэнсон заявляет об этом яснее ясного.

За исключением введения и заключения, мое мнение о Мэнсоне в этой книге больше никак не представлено. Предоставив ему возможность рассказать свою историю, я отредактировал ее, дабы избежать повторов и отступлений, а также исправить частые неровности речи. Какие-то имена были изменены, даже те, что упоминались где-нибудь еще без ведома этих людей. Идеи и убеждения, представленные в книге, целиком и полностью принадлежат Чарльзу Мэнсону. Я лишь постарался записать его рассказ с максимальной последовательностью, чтобы адекватно передать смысл сказанного им. И, хотя это его история, Чарльз Мэнсон не получает никаких гонораров или какого-либо вознаграждения за эту книгу. Единственная его награда — возможность быть услышанным. Хотя он слышал или читал большую часть рукописи, окончательное решение о том, что включать в книгу, а что нет, принимал исключительно я сам.

В заключение я приношу свои извинения семьям и друзьям Тейт, Ла Бьянка, Фолджер и других за то, что разбередил старые раны и заставил вспомнить ужасающие августовские дни 1969 года.

Часть 1. Рождение изгоя



Я перед судом, 28 января 1970 год

Глава 1. От тюрьмы до тюрьмы

19 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, Чарльз Майлз Мэнсон услышал, как верховный судья Чарльз Олдер выносит свое окончательное решение: «Я твердо убежден, что смертная казнь является не только подходящим наказанием, — сами обстоятельства практически заставляют сделать именно этот выбор. Не могу не

согласиться с прокурором в том, что если не этот случай подходит для смертной казни, то каким же тогда он должен быть? Управлению исправительных учреждений поручено доставить вас под надзор начальника тюрьмы штата Калифорния в Сан-Квентине, чтобы он предал вас смерти в порядке, предписанном законом штата Калифорния».

В зале суда с Мэнсоном сидели еще трое обвиняемых по этому делу: Сьюзан Аткинс, Лесли Ван Гутен и Патрисия Кренвинкель. 29 марта 1971 года жюри присяжных признало их виновными в совершении убийства Шэрон Тейт-Полански, Эбигейл Фолджер, Войтека Фриковски, Джея Себринга, Стивена Пэрента, Лино Ла Бьянка и Розмари Ла Бьянка. Немногим позже Мэнсон был также приговорен к смертной казни за два других убийства вместе с еще четырьмя обвиняемыми — Робертом Босолеем, Чарльзом Уотсоном, Брюсом Дэвисом и Стивом Гроганом. Босолей был осужден за убийство Гэри Хинмэна, Дэвис и Гроган — за соучастие в убийстве Дональда (Шорти) Ши. Уотсон входил в группу, совершившую убийства Тейт — Ла Бьянка. — *Н. Э.*

Что такое следственные изоляторы, залы суда и тюрьмы, я узнал в двенадцать лет — с тех пор это стало моей жизнью.

Когда мне исполнилось шестнадцать, я перестал бояться чего бы то ни было, чем могло меня попотчевать тюремное начальство. Но вот заключенные оставались непредсказуемы, и это делало мою смерть в тюрьме вполне реальной перспективой, особенно после того, как обвинитель, пресса и телевидение и кое-кто из сотрудников Управления исправительных учреждений заронили такую мысль в сознание других заключенных своими заявлениями в духе: «Природа преступлений Мэнсона такова, что она делает его привлекательной персоной в глазах других осужденных, желающих привлечь к себе внимание и прославиться».

Выслушивая смертный приговор из уст Олдера, я осознавал, что за этим решением стоит вся судебная система Калифорнии, и все же я знал, что штат Калифорния не казнит меня. Умру в тюрьме, наверное. Но быть казненным — увольте!

Я оказался прав: и года не прошло с тех пор, как я вошел в число смертников, как действовавший на тот момент в Калифорнии закон о смертной казни был отменен. Все осужденные, ожидавшие исполнения смертного приговора, автоматически получили пожизненный срок. Для большинства бывших смертников отмена смертной казни означала возрождение надежд. Я же не чувствовал особого восторга по этому поводу, думая лишь о том, с чем теперь мне придется бороться.

Паранойя крепко сидела во мне, ибо из-за особенностей преступлений, мощной огласки, которой сопровождался мой арест и растянувшиеся судебные слушания, имя Чарльза Мэнсона стало олицетворением ненависти и страха для тогдашнего поколения. Это крест, который я вынужден нести на себе с момента ареста в 1969 году. Время, проведенное в камере смертников — из-за усиленной охраны и изоляции от общей массы заключенных, — было самым спокойным за последние семнадцать лет моей жизни. Я мог наконец расслабиться. Но теперь я стал особой фигурой в системе исправительных учреждений Калифорнии и был вынужден отбывать срок наравне с остальными, увертываясь от дровиков, ножей и угроз покончить со мной, которые я получал от других заключенных, и в то же время следить за каждым тюремщиком, приближавшимся ко мне.

Последнее покушение на меня, достойное попасть в газеты, произошло в художественной мастерской Калифорнийского медицинского центра. Я сидел за столом и лепил из глины. Я только начал пробовать себя в скульптуре и с головой ушел в работу. Я так увлекся, что осла-

бил свое постоянное внимание и перестал отслеживать происходящее вокруг. Это был один из тех редких случаев, когда я расслабился в тюрьме. Я не услышал шагов и не чувствовал никого рядом до тех пор, пока меня не окатили какой-то холодной жидкостью, залившей мне лицо, голову и одежду.

Ошарашенный, я вскочил на ноги и повернулся туда, откуда получил этот душ. Глаза уже невыносимо жгло (это был какой-то легковоспламеняющийся разбавитель для краски). Я с трудом разглядел, как длинноволосый бородатый ублюдок-кришнаит бросил горящую спичку мне в лицо. Я не успел отбить ее и, как после взрыва бомбы, в один миг превратился в факел. Мои волосы, лицо, одежда охватило пламя. Я бросился на противника, но он ускользнул от меня. Боль от ожогов и инстинкт самосохранения не позволили мне преследовать его.

Я метнулся на пол и через голову стянул горящую куртку, пытаюсь потушить полыхавший разбавитель. Хотя в комнате находился охранник и несколько заключенных, я уже давно научился не ждать помощи или сочувствия от кого бы то ни было. Не то что бы я целенаправленно думал о том, что могли бы сделать окружающие в подобных обстоятельствах, — в тот момент мой мозг напряженно решал, как же сбить пламя. Я понимал, насколько уязвим, вздумай тот недоносок напасть на меня снова. Но первым делом надо было разобраться с огнем. К счастью, парень просто отошел и смотрел, как я отбиваюсь от лизавших меня языков пламени. Я полыхал секунд сорок пять или минуту. Этого оказалось достаточно, чтобы у меня сгорели все волосы на голове и лице. Я заработал ожоги третьей степени на голове, лице, шее, левом плече и по всей левой руке.

Несколько дней я провалялся в больнице, дня два находился в критическом состоянии.

Это нападение не имело никакого отношения к тому, что я был «тем самым» Чарльзом Мэнсоном и сидел за «те

самые» убийства. Всему виной был спор на религиозную тему, который состоялся накануне моего превращения в человека-факел.

Парень, швырнувший в меня спичку, такой же психованный и переставший ориентироваться в законах общества, каким большинство людей видит меня. И все же, как и я, он считает себя не каким-нибудь фриком с помутившимся рассудком, а человеком, которому выпала такая игра, в которую невозможно играть согласно правилам и ценностям нашего общества.

* * *

Меня зовут Чарльз Майлз Мэнсон. Когда я веду этот рассказ, мне пятьдесят один год. Если я вытянусь в полный рост и, чуть сжульничав, приподнимусь на носки, то мой рост будет равняться ста шестидесяти пяти сантиметрам. Думаю, было время, когда я весил порядка шестидесяти трех килограммов, но раз или два — уже в тюрьме — я худел до пятидесяти двух. Я вовсе не похож на громадного увальня с большими кулаками. Но мой голос может звучать громко и раскатисто, как у настоящего великана. В 1970 году, накануне и во время судебного процесса, завершившегося для меня обвинительным приговором, моя фотография появлялась на обложках журналов, а имя мелькало в газетных заголовках чаще, чем реклама колы. В большинстве материалов и статей меня изображали так, словно я уже родился с клыками и рогами. Писали, будто моя мать была шлюхой, что с рождения у меня был сопливый нос, а если меня пеленали, то в пеленках оказывалось полно дерьма, причем оно нередко текло у меня прямо по ногам. Всех заставили поверить, что я попрошайничал на улицах, когда мне не было еще и пяти лет, и воровал еду, чтобы не подохнуть с голоду. В семь лет у меня уже были первые приспешники. Они занимались воровством, а добычу приносили мне. Мне не исполнилось и девяти,

а я уже взялся за пистолет и грабил стариков и слабых. В возрасте двенадцати лет я изнасиловал дочку проповедника и задушил ее младшего брата, чтобы он не заложил меня. В тринадцать лет на меня уже накопилось такое полицейское досье, что я вполне мог войти в штат Никсона или возглавить мафию. За моими наркотиками мальчишки из церковного хора выстраивались в ряд и воровали для меня церковные пожертвования. Среди моих подружек, которым я основательно затуманил мозги, были десяти- и двенадцатилетние соседские девочки. Чтобы доказать свою любовь, они приносили мне деньги, заработанные проституцией и съемками в порнофильмах.

Разве не таким вы представляли меня? Разве прославленный прокурор, судьи, мои якобы последователи и пресса нарисовали не такой портрет?

Изменится ли что-нибудь, если сказать, что я не выбирал свою мать? Или что, будучи внебрачным ребенком, я был вне закона с рождения? Что во время так называемого формирования личности я не контролировал свою жизнь? Эй, послушайте, к тому моменту, когда я научился думать и запоминать, меня оставляли с совсем незнакомыми людьми (их не знали даже знакомые мне взрослые), и они помыкали мной, как хотели. С самого рождения меня чаще всего отталкивали, а не любили и ласкали. Вы можете это понять? Вряд ли. И уже поздно, теперь мне все равно! Но меня спрашивают, откуда взялись моя философия, антисоциальное поведение и жесточенность. Вовсе не пытаюсь изменить общественное мнение, я расскажу кое-что о своей жизни с помощью парня, который пишет эту книгу. Вы уже наверняка читали что-нибудь на тему «Чарли то, Мэнсон се», и историю моей семьи вам уже описали, но любой человек в реальной жизни всегда отличается от того, каким его преподносят или считают.

Уже написаны книги, и пишутся новые; появились фильмы, и, без сомнения, их будет еще больше. СМИ за-

получили марионетку, которой можно вертеть как угодно, чучело, на котором можно отрабатывать удары. Все, кому не лень, подхватывали мои слова и мысли, перевертали и публиковали их с совершенно другим смыслом. Искаженная информация, сенсации и фальшивые цитаты, приписанные мне, печатались в прессе ежедневно. Их было так много, что жизнь на Земле потеряла для меня всякий смысл. Не вижу его я и сейчас. Мое тело остается в плену у общества, порождающего людей, подобных мне, но мой разум проник в царство мысли, далекое от Земли. Я понял одну вещь: чтобы оставаться собой, не следует произносить ни слова, не издавать ни звука, не делать никаких движений — даже не моргать глазом, ибо, если сделать это в присутствии другого человека, о тебе тотчас сформируется какое-то мнение. Обязательно найдется какой-нибудь мнимый психолог, который проанализирует и опишет тебя таким, что ты станешь уже не тем, кто есть на самом деле.

Как я уже говорил, СМИ разошлись не на шутку. Ничтожества разбогатели и обрели влияние. Так называемая «семья Мэнсона» разгромлена, а ее участники переметнулись на другую сторону, свидетельствуют в пользу штата, — так лгут в судах. Они понаписали книжек и заработали денег на интервью, где приуменьшили свою роль, свалив все на Чарли. Юристы, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, сколотили себе состояние благодаря участию в суде над «семьей Мэнсона». У меня такое чувство, будто общество изнасиловало и раздавило меня. Меня отымели прокурор и друзья. Вытянули всю душу суды. Меня избивали тюремщики и выставляли на показ в тюрьмах. Тем не менее моих слов никогда не печатали и не передавали так, как они были сказаны мной. Так что с этой точки зрения мне нечего выгадывать или терять, рассказывая все так, как, мне кажется, было на самом деле.

Тридцать семь из своих пятидесяти одного года жизни я провел в исправительных учреждениях для несовершеннолетних, семейных приютах и тюрьмах. Последние семнадцать лет я живу как зверь, посаженный в клетку в зоопарке. Наши клетки почти одинаковы, они сделаны из бетона и стали.

Моя кормежка не отличается от кормежки животных: мне дают еду через решетку и по расписанию. Охранники расхаживают около моей клетки, убеждаясь, что она заперта, а я не сдох. Люди, приходящие в эту тюрьму, независимо от цели посещения, все как один спрашивают: «А где держат Чарльза Мэнсона? Можно пройти мимо его камеры?» И, как добрые служители зоопарка, тюремщики провожают их к моей камере. Поглазеть на Чарльза Мэнсона в тюремной клетке — это все равно, что увидеть редкостное дикое животное. Без этого посещение тюрьмы было бы неполным. Чтобы удовлетворить собственное любопытство, я смотрюсь в зеркало: вдруг у меня выросли рога или торчат клыки изо рта? Если зеркало не лжет, у меня нет ни того, ни другого. Я осматриваю тело, сравнивая его с телами тех, кто остановился и уставился на меня. Теми же самыми глазами, способными видеть, моргать и пристально смотреть, как глаза тех, кто стоит перед моей камерой, я вижу нормальное тело, две руки, две ноги, голову, на которой в обычных местах растут волосы, а также находятся глаза, нос, уши и рот — все, как у всех. Я ничем не отличаюсь от людей, остановившихся для того, чтобы метнуть в меня свой наполненный ненавистью взгляд. Или от вас, кому интересно то что я должен сказать.

Если бы журналисты и иже с ними с самого начала придерживались фактов, установленных следователями, Чарльза Мэнсона уже никто бы не помнил. Но из-за того, что каждый журналист, автор каждой книги и каждый телевизионный ведущий преувеличивал, измышлял, раздувал ради сенсационного эффекта и приправлял матери-

ал собственной враждебностью, я и те, кто жил вместе со мной, стали значить больше, чем на самом деле. Быть может, это делалось намеренно.

В большинстве случаев меня и арестованных со мной людей описывали как психопатов со съехавшей от наркотиков крышей. В июньском номере журнала Rolling Stone за 1970 год была опубликована статья под заголовком «Специальный репортаж: Чарльз Мэнсон — невероятная история самого опасного человека на земле». Впрочем, были и публикации, где высказывалось предположение о том, что в основе преступлений лежал какой-то принцип. Так, в февральском номере Tuesday's Child за 1970 год говорилось, что, возможно, я больше похож на революционера-мученика, чем на безжалостного убийцу. Естественно, вместе кое с кем из разделивших со мной безумие я с жадностью ухватывался за любые материалы, где хотя бы отдаленно проглядывалось сочувствие.

Тогда я не прочел ни той, ни другой статьи, хотя был наслышан о них. Но с конца 1969 года я читал похожие заголовки и смотрел на собственные фотографии почти ежедневно. Везде меня называли «культовым вождем хиппи, программировавшим людей убивать для него, человеком, который несет ответственность за убийства Тейт — Ла Бьянка». Меня изображали каким-то мистическим сверхчеловеком, способным одним своим взглядом заставить другого человека выполнить любую мою прихоть. Из меня сделали Гаммельнского Крысолова, подбивавшего молодяка на преступления и жестокость.

Зная, что я за человек, как я рос и каким был, я считаю эти байки смехотворными. Я прихожу в ужас от читателей, которые глотают всю эту ложь, не моргнув глазом, и верят ей, как Библии. Но я не могу не отдать должное ребятам, создавшим мой образ, этим виртуозам пера, которые высосут из пальца какую угодно историю и сделают из мухи слона. Я не должен винить читателей, ведь

я сам отчасти попался на эти выдумки. Но когда я допускаю мысль, что действительно могу обладать всеми приписанными мне способностями, и пытаюсь опробовать их на своих тюремщиках, он или она хлопают дверь у меня перед носом. Так происходит возврат к реальности, и я осознаю, что я всего лишь то, чем был всегда, — «недоделанное ничтожество».

Цель этой книги состоит не в том, чтобы продолжить дело «самого опасного человека на земле», если я таким являюсь (или являлся), а в том, чтобы просто показать другую сторону личности, которую сравнивают с дьяволом. Но ведь и у дьявола, если он существует, была своя предыстория.

* * *

Не помню, слышал ли я когда-нибудь о матери Люцифера, так что понятия не имею, был он рожден или выдуман, чтобы пугать детей. Если у него все же была мать, то у нас есть два сходства. Если нет, нас связывает лишь то, что обоими нами пугают детишек. Во всяком случае, лично у меня мать была.

Ее звали Кэтлин Мэддокс. Родилась она в Эшленде, штат Кентукки, и была младшей из трех детей в семье Нэнси и Чарльза Мэддокса. Родители мамы любили свою дочь, и она хорошо о них отзывалась, но они были настоящими религиозными фанатиками, особенно бабуля, которая всем заправляла в доме. Она была строга и непреклонна в своем понимании божественной воли и требовала от своих домочадцев жить в соответствии с ее представлениями о желаниях Господа.

По мнению бабушки, если ты показал лодыжку или даже послал слишком теплую улыбку лицу противоположного пола, это уже было греховным поступком. На алкоголь и курение был наложен строгий запрет. Косметика считалась злом — ей пользовались лишь уличные девки.

Сквернословие отправляло тебя в ад с той же скоростью, что и воровство или супружеская измена.

Мой дед работал в компании B&O Railroad. Он работал без устали, преданный раб своей компании и ее хозяев. Как и бабуля, дед тоже проповедовал слово Божье. В отличие от бабушки, он не был таким строгим поборником дисциплины, но, как и дети, находился под каблучком жены. Если он пытался приласкать мою мамочку, например, легонько шлепнуть ее по колену или положить ей руку на плечо, бабуля тут же намекала на его вульгарность. Чтобы жить мирно, дедушка позволил жене быть главной в доме. Бедняга. В старости его увезли из дома, который он содержал. Свои дни он окончил в сумасшедшем доме.

Маме постоянно приходилось отказываться от чего-то. От утреннего пробуждения до отхода ко сну она то и дело слышала: «Нет, Кэтлин, это платье слишком короткое. Заплети волосы, не причесывайся, как потаскуха. Из школы сразу домой, не вздумай болтать с мальчишками, поймаю. Нет, ты не можешь пойти на танцы в школе, потому что мы идем в церковь. Кэтлин, прочти молитву перед едой. Не забудь помолиться перед сном и попросить прощения за свои грехи».

В 1933 году в возрасте пятнадцати лет моя мать сбежала из дома. Пожалуй, лучше было бы сказать, что «ее выжили из дома».

Кое-кто из журналистов изобразил маму молоденькой шлюшкой. Если ее угораздило оказаться матерью Чарльза Мэнсона, значит, она не придерживалась моральных устоев. Лично мне больше нравится представлять ее своеобразной девочкой-хиппи тридцатых годов, опередившей появление «детей-цветов» на тридцать лет. Причины, заставившие ее покинуть родные стены, ничем не отличаются от тех, что было на уме у детей, с которыми я столкнулся уже в шестидесятых. Так же, как и эти дети, мать

решила, что лучше быть бездомной и жить на улице, чем подчиняться предвзятым требованиям родителей, которые видят мир лишь таким, каким, по их мнению, он должен быть. Однажды родители очнутся. Их дети вовсе не тупицы. Домашняя жизнь — это как улица с многосторонним движением, где следует считаться и стараться понять все разнообразие жизни. Что касается утверждения, будто мама была проституткой, то полученное воспитание не позволило ей торговать телом, хотя тщеславие продажной женщины ей все-таки было свойственно. Броской красотой она никогда не отличалась, но была хорошенькой девушкой — рыжие волосы и изящное телосложение выделяли ее почти в любой компании. Ее рост едва доходил до ста шестидесяти пяти сантиметров, и ей казалось, что она потолстела, стоило ей набрать больше сорока килограммов. Но, несмотря на все свое тщеславие, внешнюю привлекательность и самоуверенность, мама искала себя и симпатии у окружающих. Пытаясь найти теплый прием, она могла легко и часто влюбляться, но быть шлюхой в то время? Бред!

Уже потом, испытав на себе удары судьбы и переживая трудные времена, она могла продать кому-то свое тело. Я не намерен осуждать ее за это. С учетом того, что мне довелось узнать, я могу лишь пожалеть, что у матери не хватило ума, чтобы стать проституткой. Здесь вы можете откинуться на своем стуле и заметить: «Сказать такое — вполне в духе Мэнсона, чего еще от него можно ожидать?» Но, по мне, первоклассная шлюха — одно из самых честных существ на земле. У нее есть товар, принадлежащий ей одной. Она назначает за него цену. Если цена приемлема, клиент уходит довольный, а девушка может заплатить за квартиру и купить себе еды, и ее не изнасилует какой-нибудь бессовестный мужик, тыкаясь в нее своим твердым членом. У родителей не будет проблем с изнасилованной дочкой, которая будет всю жизнь

пытаться забыть нанесенную ей психологическую травму. Полиция не заведет дело, а налогоплательщики не будут тратить свои средства на содержание в тюрьме какого-то парня бог знает сколько лет. Да, честная проститутка не просто спасает себя. Она и обществу приносит пользу.

11 ноября 1934 года, проживая в ту пору в Цинциннати, штат Огайо, моя незамужняя мать, которой было всего-навсего шестнадцать, родила внебрачного ребенка. В больнице новорожденного записали как «безымянный Мэддокс». Мальчик — это был я, Чарльз Майлз Мэнсон, — оказался изгоем с самого рождения. Зачал меня молодой аптечный ковбой. Он звался полковником Скоттом, переезжал с места на место в поисках работы. Тогда он трудился на строительстве плотины. Он не задержался надолго — он даже не видел, как у матери рос живот. Отец, тоже мне! Мне говорят, что я видел этого человека раз или два, но я не помню его лица.

Фамилия мне досталась от Уильяма Мэнсона, с которым мама стала жить вскоре после моего рождения. Уильям был намного старше мамы, и по его настоянию они в конце концов поженились. Не знаю, пытался он так запретить маму дома или женился на ней из моральных принципов, то есть потому, что в доме был ребенок. Так я получил фамилию Мэнсон, но отца — нет! Этот брак не был долгим, поэтому не могу сказать, что помню Уильяма Мэнсона. По его вине произошел развод или по маминой, я так и не узнал. Возможно, виновата была мама: она всегда была симпатичной маленькой девкой, которая была не прочь переспать с кем-нибудь на стороне.

Сбежав из дома, где ее абсолютно подавляли, мама без оглядки отдалась новому для нее состоянию свободы. Она много пила, спала с кем хотела, ни перед кем не отчитывалась и наслаждалась жизнью. Когда я появился на свет, у нее еще не было достаточно жизненного опыта — или опыта той самой свободы, — чтобы взять на себя всю

ответственность материнства. Не скажу, что был нежеланным ребенком, но до изобретения противозачаточных средств было еще далеко, а мама, как многие другие молодые мамы, была не готова пойти на жертвы, которых требовал уход за ребенком и его воспитание. Со мной или без меня — у мамы был свой образ жизни. Меня оставляли у родственников или нанимали мне няню. Если у мамы было все хорошо, она не забирала меня.

Нередко бабушка с бабушкой или кто-нибудь другой из семьи не могли отпустить няню, потому что мама не объявлялась. Понятное дело, что я всего этого не помню, но вы знаете, как это бывает: даже среди своих в семье, если уж кто-то в чем-то грешен, это обязательно смакуется. Один из маминых родственников с превеликим удовольствием рассказывал, как мама однажды продала меня за кувшин пива. Как-то днем мама сидела в одном кафе и держала меня на коленях. Бездетная официантка, мечтавшая о ребенке, в шутку предложила моей маме купить меня. «Кувшин пива, и он ваш», — ответила мамочка. Официантка принесла пиво, мама не спеша его прикончила и ушла из кафе, оставив меня там. Спустя несколько дней моему дяде пришлось обыскивать город в поисках той официантки, чтобы забрать меня домой.

Может показаться, что, рассказывая все эти вещи о своей матери, я предаю ее, ведь мамины «стандарты» явно не соответствуют принятым в обществе нормам. Но, постойте, мне нравилась моя мама, я любил ее, и если бы я мог выбирать, то выбрал бы ее. Она была бесподобна! Не заботясь обо мне, тем самым она заставляла меня справляться со всем самого.

Когда мне было лет шесть, мама оставила меня у бабушки с бабушкой, как предполагалось, на пару дней. Помню, через несколько дней дед позвал меня на прогулку. Выйдя из дома, он ласково заговорил со мной и стал добрее обычного. Во время прогулки мы играли и бегали на-

перегонки, и дедушка позволял мне обгонять его. Он посадил меня к себе на плечи, а я изображал самого высокого в мире великана. Потом мы присели передохнуть. Он обнял меня и, пряча слезы, сказал:

«Твоя мама еще долго не вернется домой». Не знаю уж почему, у меня комок подкатил к горлу: то ли потому, что дедушка разрыдался, то ли я действительно осознал сказанное им.

Вместе со своим братом Лютером мать пыталась ограбить заправку в Чарльстоне, штат Западная Вирджиния. Говорят, они оглушили работника заправки бутылкой из-под кока-колы. Их поймали и дали по пять лет, отправив в Маундсвилль, тюрьму штата.

В Маундсвиле мать жила на женской половине тюрьмы, но работать ей приходилось рядом с камерами смертников. Ей нужно было убирать территорию, где в том числе находился эшафот (в Западной Вирджинии практиковалось повешение). Мама рассказывала, как однажды, делая уборку, она увидела, как охранники ведут к эшафоту какого-то мужчину. Обычно в день повешения на этой территории не должно быть никого, кроме официальных лиц и осужденного. Случайно или по недосмотру, маму забыли предупредить о назначенной на тот день казни. Опасаясь, как бы у нее не возникли проблемы, мама спряталась в кладовке для метелок за эшафотом. Когда петля затянулась, из-за того, что все произошло слишком быстро и под тяжестью тела, веревка перерезала парню шею, а мама подглядывала сквозь щелку, и ближе видеть происходящее было невозможно. Голова казненного подкатилась прямо к месту маминого укрытия. Она клялась, что глаза мертвеца были все еще широко раскрыты, так что смерть в буквальном смысле смотрела ей прямо в лицо.

Двадцать семь лет спустя, впервые попав в камеру смертников в Сан-Квентине, я увидел газовую камеру. Два смотровых окна камеры были похожи на два огромных

глаза, принадлежавших смерти. Внезапно я вспомнил мамин рассказ, и мне представилось, как она смотрела смерти прямо в глаза. В тот момент я понимал свою мать лучше, чем когда-либо.

Пока мама отбывала свой срок в Маундсвиле, заботиться обо мне пришлось бабушке, хотела она того или нет. Так что я оказался в том же месте, откуда мама сбежала шесть лет назад.

Строжайшая дисциплина, обязательная молитва перед едой и долгие молитвы перед сном. Не дерись, не вору и подставляй другую щеку. Я верил всему, чему учила меня бабушка, и следовал этим заповедям. И так я стал самым известным в округе слюнтяем.

После того как я провел несколько недель у бабушки, было решено, что я буду жить у маминой сестры Джоан и ее мужа Билла в Макмичене, штат Западная Вирджиния. У дяди Билла было свое мнение по поводу того, как должны вести себя мальчики. Быть слюнтяем и бояться соседских ребят — дядя Билл совсем не так представлял себе мальчика в моем возрасте. Помню, как он велел мне не реветь при каждом случае и вести себя как мужчина, иначе он обещал одевать меня и обращаться со мной, как с девчонкой. Наверное, я не очень исправился. Сейчас я уже не вспомню, что конкретно заставило дядю Билла сделать так, но в первый день, когда я только пошел в школу, он вырядил меня в девчоночью одежду. Стыд и смущение охватили меня. Другие дети задразнили меня до того, что я пришел в ярость и начал колотить всех подряд. Подставь другую щеку — это правило, которое внушала мне бабуля, было позабыто. Мне набили шишек и пустили немного крови, зато в той школе я прослыл самым задиристым маленьким убудком, какого они еще не видали. Должно быть, дяде Биллу это пришлось по душе, потому что с тех пор я носил только одежду для мальчиков.

Джоан и Билл были хорошими людьми и старались воспитать меня правильно. Мою жизнь у них можно было

бы назвать нормальной, обычной жизнью, но невозможно передать, как я разрывался: всей душой я был с мамой, в тюрьме, а жил с людьми, которым был неродным ребенком. Черт, даже не знаю, о чем я тогда думал! Тетя с дядей прекрасно со мной обращались. Я получал под зад, когда заслуживал, и меня хвалили, когда я делал что-то так, как надо. Меня учили хорошим манерам, учили умываться, причесываться, чистить зубы, верить в Бога и почитать Его — в общем, всему, чему обычно учат любого ребенка. Но если ты неродной сын, это все равно уже другое дело.

Я все еще помню, как взрослые называли меня «маленьким ублюдком», а дети, с которыми я играл, говорили мне: «Твоя мать нехорошая, она тюремная пташка. Ха-ха-ха!»

Однажды после Рождества я поквитался с теми, кто смеялся надо мной. На Рождество я был у бабушки с дедушкой. Моим единственным рождественским подарком стала расческа. Расческа Супермена. Когда я разворачивал свой подарок, бабушка сказала мне: «Если будешь причесываться этой расческой, ты сможешь летать, как Супермен». Ну, я и купился на это — носил расческу с собой целыми днями и постоянно расчесывал ей волосы. Я прыгал с крыльца и вообще с любого места, если оно хоть немного возвышалось над землей, и на самом деле думал, что вот-вот воспарю в небо, как Супермен. Я так и не научился летать. Это был единственный раз, когда бабушка обманула меня.

Соседские дети еще больше растравляли мне сердце, хвастаясь своими подарками. У них были всевозможные игрушки: детские коляски, игрушечные поезда, ковбойские шляпы и пупсики. Даже сейчас я не уверен, из-за чего точно я завелся: или я обиделся, потому что надо мной смеялись, или чуть не лопнул от зависти при виде того, чего не было у меня. Так или иначе, настал день, когда я сгреб все чужие игрушки, которые нашел, и увез на

тележке с собой. Я бросил «добычу» на дрова и поджег кучу. Дети чуть не сошли с ума: кто-то плакал, другие стали мне угрожать, а их родители позвали шерифа. И хотя меня не забрали в тюрьму, это была моя первая встреча с представителем закона. В возрасте семи лет.

Мне было лет восемь, когда маму выпустили из Маундсвиля. День ее возвращения домой по-прежнему остается одним из счастливейших дней в моей жизни. Думаю, она скучала по мне так же сильно, как тосковал по ней я. Несколько дней мы были с ней неразлучны. Я был ее сыном, она моей мамой, и мы гордились друг другом. Я был в восторге от этого! Скорее всего, ей тоже это нравилось. Но все-таки для полного счастья двадцатитрехлетней девушке требуется нечто большее, чем восьмилетний сын. И если до попадания в тюрьму мама могла что-то наверстать в своей жизни, то теперь она опоздала. Слишком поздно об этом думать, но, возможно, многое было бы по-другому, пойди мама своей дорогой и оставь меня у тети с дядей. Она так не сделала — и я этому рад.

Жизнь с мамой была похожа на бесконечную поездку. Мы часто переезжали, я пропустил много занятий в школе и позабыл многое из того, чему тетя и дядя пытались научить меня. Нашу с мамой жизнь уж точно нельзя было назвать обычной, но я ценил каждую минуту этой жизни. Все, что я хотел знать, — буду я на следующий день с мамой или меня спихнут кому-нибудь другому.

Если я не мог быть с мамой в городе, то предпочитал жить у дяди Джесса в Мурхеде, Кентукки. Каждый раз я оставался у него на разное время. Порой это была неделя или две, а иногда я зависал там на пару месяцев и даже больше. Дядя Джесс жил в длинной хижине, стоявшей на столбах в нескольких метрах над землей. Джесс был самой что ни на есть деревенщиной — бородатый, босой, в комбинезоне, он гнал спирт и охотился на енотов с собаками. Его близкие могли влипать в какие угодно неприят-

ности, Джесс защитил бы их в любом случае. Но если кто-нибудь посмел ему перечить, то берегись, ибо в доме он был царь и бог.

У Джесса было четыре дочки. Они были милашки — настоящие дочери гор. Я не раз наблюдал, как Джесс доставал дробовик, чтобы прогнать парней, которые улепывали под горку. Девочки могли что-то делать украдкой, но стоило Джессу оказаться поблизости и заговорить, они вздрагивали.

Потом я понял, с чего это они были такие послушные. Однажды я отпихнул одну из собак Джесса от крыльца. «Сынок, — сказал он мне, — эта гончая тебя не трогала. Ты не имел права пинать ее. Никогда не обижай животных». Сказав это, он задал мне такую трепку, которую я запомнил на всю жизнь. Джесс был не из тех, кто много болтает, зато, когда он говорил, люди прислушивались к его словам. «Не отрывайте детей от земли», — порой предупреждал он. И он был прав, ибо любой, кто оторвался от земли, жалеет или умирает без этого. Сам дядя Джесс умер на своей земле и не позволил никому увезти себя из родных мест. Полиция вышла на Джесса и его самогонный аппарат, но дядя обвел полицейских вокруг пальца. Он взорвал аппарат — и себя вместе с ним.

Итак, вернемся назад. Еще до Маундсвиля мама была хорошенькой и сообразительной девушкой, но, сидя в тюрьме, она получила немалый опыт и даже разнообразила свою сексуальную жизнь. Я узнал об этом гораздо позже: в Маундсвиле она спуталась с лесбиянками, которые были старше. Само собой, тогда они могли развлекаться лишь тайно, поэтому мама была довольно осторожна в этом плане. В том возрасте я еще ничего не соображал и был совсем не против спать в другой комнате, когда какая-нибудь женщина жила у нас несколько дней.

С таким сексуальным и тюремным опытом мама знала ответы на все вопросы и могла справиться с любой

ситуацией. Проблема была лишь в том, что мать была вспыльчивой маленькой девкой, любившей пропустить стаканчик-другой и не терпевшей, когда ее тыкали лицом в грязь. Вот потому-то нам иногда приходилось удирать. Помню, как-то вечером мама вбежала в нашу старую однокомнатную квартиру и выдернула меня из постели со словами: «Давай, Чарли, подымайся! Помоги мне собрать вещи. Нам надо убраться отсюда».

В то время она подавала коктейли в кафе «Голубая луна» в Макмичене. Там к ней пристал какой-то мужик. Мама пару раз попросила его утихомириться. Уговоры не подействовали. Она схватила бутылку с четвертью галлона спиртного и ударила пристава по голове. Когда она уходила из кафе, он все еще валялся на полу. «Чарли, поторопись! Я только что ударила одного из братьев Замбини и не хочу дожидаться, чтобы проверить, очнется он или нет. При любом раскладе я попадаю в переплет». Братья Замбини обеспечивали городу «крышу», все их боялись, и мама не была исключением. Мы всегда переезжали, но в тот раз мы покинули наше пристанище быстрее всего.

Следующие года два мы колесили по Индиане, Кентукки, Огайо, Западной Вирджинии и, быть может, еще паре штатов, сменив бог знает сколько городов. К тому времени, когда мне исполнилось двенадцать лет, я отставал в учебе, побывал в нескольких исправительных домах для несовершеннолетних и перестал верить, что все любовники моей мамочки были просто ее «дядями». По большому счету я стеснял маму. Кому-то из «дядей» я нравился, кому-то нет, но что касается меня, я их всех терпеть не мог. Думаю, моя ревность и обида на «дядей», спавших с мамой, были заметны, и между нами пролегла трещина. Когда мне было двенадцать, очередной мамин любовник довел дело до конца. В отличие от обычных двух- или трехдневных маминых интрижек этот парень задержался у нее на несколько недель. Как-то ночью меня разбудил

шум их пьяных голосов. Они спорили. Большая часть запомнившихся мне слов была сказана женщиной: «Говорю же тебе, я сваливаю. У нас с тобой все могло быть просто чудесно, но я не выношу твоего мерзкого детеныша». Потом я услышал мамин голос: «Не уходи, потерпи. Я люблю тебя, и мы что-нибудь придумаем».

Бедная мама, мы с ней уже давно истощили гостеприимство родственников и друзей, готовых оставить меня у себя на любое время. Я испортился и привык почти всегда вести себя так, как мне нравилось. Я попробовал пожить в парочке семейных приютов, но был явно не тем ребенком, за которого приемные родители хотели нести ответственность.

Спустя несколько дней после подслушанного мной спора мы с мамой стояли перед судьей. Устроив одно из лучших своих представлений, мать жаловалась на тяготы жизни. Она сказала судье, что ей приходится бороться за существование и не получается обеспечить мне подходящие условия. «Пока мать не сможет достаточно зарабатывать и найти приличный и надежный дом, куда Чарльз может вернуться, я отдаю его под опеку суда и отправляю в приют для мальчиков», — постановил судья. В тот момент эти слова ничего для меня не значили. Я злился на маму и не хотел жить вместе с ней и ее любовником. Я не чувствовал себя ни подавленным, ни обеспокоенным. Потрясение ждало меня лишь на следующий день.

Суд определил меня в религиозную школу — воспитательный дом Гибо в Терр-От, штат Индиана. Со мной все было в порядке, пока меня оформляли в школьной канцелярии, но после оформления документов в моей голове и желудке стали происходить странные вещи. Когда меня проводили в общую спальню, где мне предстояло провести следующие десять месяцев, мне стало плохо. Я не мог дышать. Слезы градом катились у меня по щекам, ноги стали резиновыми, и я едва был в силах переставлять их.

Какая-то невидимая сила сжимала мне грудь и вытягивала из меня жизнь. Я любил свою мать! Я хотел быть с ней! «Ну почему, мама? Почему все так происходит? Приди и заberi меня отсюда, просто разреши мне жить с тобой. Я не буду мешать тебе!» Мне было очень одиноко — тако-го приступа одиночества я еще не испытывал. С тех пор я никогда не чувствовал себя так одиноко. Я больше не сердился на мать. Я лишь хотел быть с ней рядом, жить вме-сте с ней — на любых условиях. Я не хотел, чтобы меня за-перли в какой-то школе, отгородив от всего.

Потом шок прошел, и все стало не так плохо. Мона-хи-католики, управлявшие школой, были вполне добры ко мне, но требовали неукоснительного соблюдения дисцип-лины. За малейшее нарушение установленных правил по-роли ремнем или били палкой и вдобавок лишали привиле-гий. Поскольку я писался в постель, мне доставалось боль-ше, чем надо, причем за то, с чем я не мог справиться.

В свои двенадцать лет я не был самым младшим в этом заведении, но, имея рост меньше ста пятидесяти сан-тиметров, а вес — меньше тридцати килограммов, я был мелочью и легкой добычей для задир. Хотя воспитатель-ный дом Гибо не считался исправительным учреждением, за исключением изучения религии, там все было так же. И хотя жившие здесь мальчики не обязательно были ма-лолетними преступниками, они точно так же обижались на родителей, закон и возмущались ограничением свобо-ды, как и обитатели реформаториев. Я навидался в этом приюте всякого такого, чего обычный ребенок видеть не должен, пока не вырастет. Хотя со мной этого не делали, но я видел, как других детей принуждали к гомосексуаль-ным актам. Я узнал, как обходить закон всевозможными способами, и научился держать свои чувства при себе, по-тому что если уделять слишком большое внимание какой-то одной стороне твоей жизни и привычкам, то окружаю-щие могут воспользоваться этим и поднять тебя на смех.